

Герой юродствующего сознания в прозе В.М. Шукшина в аспекте традиций русской классики

В творчестве Шукшина определение «странный» в характеристике героя — одно из самых частотных: «Он был очень странный парень — Васека»¹ («Стенька Разин»); «Как-то неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой...» (VI, 88) («Забуксовал»); «А вот Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучиться. — И как-то странно улыбаются» (III, 168) («Миль пардон, мадам!»); «А что это за манера такая... странная? — сказал Кайгородов. — Хаханьки какие-то...» (VI, 177) («Штрихи к портрету»). Определение «странный» возникает в творчестве писателя в следующем синонимическом ряду: «ненормальный», «несуразный», «чудной», «окаянный». Сам писатель объяснял этот человеческий тип так: «Странные люди — это должны быть бесконечно добрые люди, талантливые и ничем в жизни не защищенные: ни позой, ни демагогией, ни умением приспособиться»². Однако диапазон «странности» в прозе Шукшина, несомненно, более широк. В высказывании писателя предстает лишь один ее полюс, другой — болезненная «вывихнутость», наиболее ощутимая в сопоставлении со средой — хранительницей национальных традиций, из которой герой вышел.

Шукшиноведы не раз обращали внимание на типологическую близость странных героев Достоевского и «чудиков» Шукшина. При сравнительном подходе у персонажей обнаруживается структурная общность не только в сфере национального, сходными оказываются некоторые поведенческие черты. В отличие от человека, посаженного «на науку поведения», герои Достоевского и Шукшина имеют всегда индетерминированные черты (шукшинские персонажи стремятся, например, создать в деревенском сарае вечный двигатель («Упорный») или увидеть луну в микроскоп («Микроскоп»)).

В творчестве Достоевского и Шукшина «положительно прекрасный человек», как правило, возникает в традициях серьезно-смехового искусства³. В этом аспекте важ-

ным, на наш взгляд, становится обращение к сугубо национальной форме общественного служения и религиозного подвижничества — юродству. Н.А. Бердяев считает, что в русской религиозной духовной культуре преобладает не героизм, а жертвенность: «Подвиг непротивления — русский подвиг. Опрошение и уничтожение — русские черты. Также характерно для русской религиозности юродство — принятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов миру»⁴.

Интерес к юродству явно выражен в литературе второй половины XIX в. — в эпоху кризиса православия и мучительных религиозно-философских исканий. К созданию образа героя, обладающего чертами юродствующего сознания, обращались Л. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г. Успенский, Н.С. Лесков и другие русские писатели-классики. Однако шире и глубже всего этот художественный тип и это архаическое явление воссоздано в творчестве Достоевского. По мнению В.В. Иванова, исследовавшего проблемы юродства в творчестве писателя, «юродство пронизывает, связывает, цементирует, а точнее — одушевляет весь художественный мир Достоевского»⁵.

«Тайна» личности Достоевского, необычность его жизненного пути, почти добровольное страдание, которое писатель взял на себя, никогда не оправдывая участие в деле «петрашевцев» случаем, диаметрально противоположные оценки его характера, данные не только разными людьми, но и одним, близко знавшим (Н.Н. Страховым), особая творческая лаборатория — все это, несомненно, уже при жизни способствовало созданию мифа о писателе. Современники чаще всего пытались идентифицировать Достоевского с типом юродивого, ощущая демократические и национальные основы его личности и творчества. Показательно, что в 1870-е гг., в эпоху духовного кризиса, необходимость подобной идентификации почувствовал и Л. Толстой, выдвигая идеал юродивого как спасительный для себя.

Юродство, по большому счету, явилось своеобразной «рифмой» к эстетике и поэтике именно Достоевского с его отрицанием обычного, общепринятого. Обращение к юродству в творчестве автора «Бедных людей» позволяет во многом преодолеть «европоцентризм» позиции М.М. Бахтина, увидев в прозе писателя как воплощение карнавала и института шутов, связанных с западноевропейской традицией, так и усвоение архаичных форм национальной смеховой культуры. В. Соловьев появление у Достоевского интереса к типу юродивого связал с основными категориями мировоззрения и эстетики писателя, с характером мечтателя и со стремлением его героев к большому общерусскому «делу». По мнению философа, «творяют жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, — они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества»⁶. Однако сразу нужно оговориться, что, хотя многие герои и в черновиках, и в каноническом тексте названы юродивыми, эти персонажи имеют мало общего с архаическим представлением о юродстве, воплощенном в дошедших до нас житиях, народных преданиях, летописях.

Образ юродивого в древнерусской традиции складывался сообразно христианским канонам, наиболее далеким от реального он оказался в житийной традиции, а летописи и особенно устные предания донесли много подлинных черт, свойственных русским юродивым. Как пишет Г.П. Федотов, автор работы «Святые Древней Руси», официальная церковь в агиографии «приглаживала» жизненный путь юродивого, поэтому «...везде неискusstная привычка к литературным шаблонам рука стерла своеобразие личности»⁷ юродивого.

В работах Г.П. Федотова, Д.С. Лихачева, А.М. Панченко, В.В. Иванова юродство как одна из древнейших форм русского религиозного подвижничества представляет сложнейшее, исполненное противоречий явление, где святость порой граничит с бесовством, смирение — с гордыней. С другой стороны, это крайнее выражение аскетизма, умерщвления плоти во имя высшей духовности. Юродство имеет свой язык, систему жестов, форму поведения, привязано к определенным сферам пространства. Оно строго ритуально и ясно только «посвященным». По мнению Г.П. Федотова, с XVIII в. — с того момента, когда юродство теряет церковное покрови-

тельство, оно вырождается, становясь феноменом культуры и живя в народе как коллективное «бессознательное». Юродство — странность, «уродство» по сравнению с нормой поведения, принятой в обществе. Создание этого образа в литературе Нового времени опиралось на мощную национальную демократическую традицию. Юродивый воплотил диалектику «дурацкости» и мудрости. В позиции этого мнимого сумасшедшего подчеркивается отказ от абсолютизации науки и разума. Юродство воплощается в стихийном, природном, органичном характере. Юродивый как нельзя лучше отразил категорию странности, человека «не от мира сего».

Вслед за В.В. Ивановым делаем существенную оговорку: ни о каком полном, органичном и системном воссоздании юродства в культуре XIX и тем более XX в. не может быть и речи. Так, юродство в сочинениях писателей XIX в. возникает, скорее, как метафора, как выражение причудливых противоречий сознания человека. Поэтому исследователь при анализе произведений Достоевского оперирует понятиями «юродствующее сознание» и «шут-юродивый», которые отражают сложные, переходные, синтетические формы смехового мира. Отдельные черты юродствующего сознания широко встречаются уже в раннем творчестве писателя (Девушкин, Прохарчин, Ползунков и другие герои), однако эти черты не носят системного характера.

В связи с «рассеянностью» отдельных черт, представляющих юродство, сильной их модификацией в литературе XIX и особенно XX в. необходимо специально остановиться на своеобразии подхода и принципах анализа этого явления в прозе Достоевского и Шукшина. Важным становится содержательное наполнение и разграничение таких понятий, как «шут», «дурак», «юродивый». Естественно, что выделение той или иной черты, сходной с юродством, вряд ли позволит говорить об обращении писателя к данному архетипу. Лишь исследование функции этого элемента в связи с представлением о целом свидетельствует о наличии рудиментов определенного типа. Так, отказ от денег (юродивый в них не нуждается) может считаться «юродствующим» жестом, если он вообще сообразуется с аскетической позицией героя, отрицающего материальные блага во имя высшей духовности.

Для понимания специфики воплощения юродства в литературе Нового времени важным становится разграничение шутовства и юродства. Д.С. Лихачев и А.М. Панченко сравнивают русских юродивых с институтом европейских шутов. Главное отличие исследователи видят в характере смехового: «Шут лечит пороки, юродивый провоцирует к смеху аудиторию...» Однако «смеяться над ним могут только грешники (сам смех греховен), не понимающие сокровенного „душеспасительного“ смысла юродства»⁸.

В.В. Иванов в шутовстве как западном веянии видит торжество зла, в юродстве — стремление к добру и истине. Автор статьи, посвященной проблемам шутовства и юродства, определяет общие черты, характерные для этих явлений серьезно-смехового мира, — «отмена иерархии, допущение вольного фамильярного контакта... эксцентричность»⁹. Однако И.А. Есаулов видит и существенное различие, которое, по мысли исследователя, «состоит в функциональности фигуры шута и субстанциональности юродивого». Шут, выражающий демократическую позицию, кажется, на первый взгляд, более интеллектуальным героем, чем юродивый. Однако в этом пункте возникает и аберрация, так как часто происходит подмена «природного» и «добровольного» юродства. От такой ошибки предостерегают Д.С. Лихачев и А.М. Панченко: «В житейском представлении юродство непременно связано с душевным или телесным убожеством. Это заблуждение»¹⁰. Шутовство менее цельное явление, оно лишено природного и органического начала ввиду того, что отмечено западным рационализмом. Юродство в связи с тем, что является формой религиозного подвижничества, более «сакрально» и иррационально.

По мнению В.В. Иванова, в ранних произведениях Достоевского часто возникает синтетический персонаж «шут-юродивый». Пользуясь термином, предложенным Чирковым, В.В. Иванов замечает: «Шут-юродивый обозлен на окружающий мир, юродивый герой напротив — приходит к мысли о невозможности судить и осуждать людей»¹¹.

Однако только в творчестве зрелого Достоевского, прежде всего в его «великом пятикнижье», юродство предстает во всем своем разнообразии, как «природное» и «добровольное Христа ради», истинное и ложное. И все же юродство писателя, своеобразно воссозданное, является «авторским».

Юродство в творчестве Достоевского представлено сложно и неоднозначно. Оно отмечено противоречивой оценкой повествователя: возникает в свете то положительных, то отрицательных коннотаций. На наш взгляд, это соответствовало природе самого явления в конце XIX в. Не случайно, что В.Г. Короленко в своем очерке «Современная самозванщина» рассматривает исключительно примеры мнимого юродства и считает саму эту демократическую форму религиозного подвижничества сугубо отрицательным национальным явлением¹². Писатель диалектического дара, Достоевский рассматривает всю «палитру» юродства и, как в любом проявлении национального, показывает диалектику добра и зла.

Положительно однозначен в своей оценке юродства Толстой. Интерес автора «Войны и мира» к этому феномену возникает уже в первой повести «Детство». Хотя оно воссоздано как эпизодическое явление, попадающее в поле зрения десятилетнего Николеньки, данное как бы «со стороны», в самом его появлении несомненно присутствовали глубокие психологические причины, побудившие Толстого обратиться к изображению демократической формы религиозного служения. Важно, что к моменту создания своего первого произведения Толстой в полной мере ощутил на себе психологический комплекс «белой вороны». Разочарование в ближайшем окружении приводит молодого писателя к экстравагантному с точки зрения общественного мнения поступку — уходу в действующую армию. Молодой Толстой уже здесь «выламывается» из своей среды. Характерное описание Толстого, создающего свою первую повесть, дает В. Шкловский в своей версии биографии писателя: «Этот потерявший адрес человек, самоизгнавший себя в казачью станицу, рос тогда так, как растут деревья...»¹³ В психологии Толстого этого периода сформированы и продолжают формироваться структурные элементы, близкие юродству, хотя в целом для писателя 1850–60-х гг. оно остается чуждым и экзотичным. На разных этапах развития мировоззрение Толстого, как известно, быстро менялось, но постоянными оставались: стремление освободиться от всех оков, личных, семейных, государственных; детскость восприятия жизни (Толстой уверен в том, что и в семьдесят лет останется ребенком); гипертрофированное развитие личности и стремление к безличности;

уверенность в своей вероучительской миссии. Здесь многое сближает с юродством и многое прямо противоположно ему. Высшее развитие личности юродивым осознается лишь в идее полного самоотречения, жертвенного служения. Все же имеющиеся несомненные точки пересечения сделали юродство притягательным для Толстого уже в ранний период его творчества.

В повести «Детство» две главы («Юродивый» и «Гриша») непосредственно связаны с образом юродивого. Юродивый Л. Толстого — человек природный, естественный, не испорченный цивилизацией, поэтому он близок детям. Находясь на периферии, будучи чужим, экзотическим явлением для дворянского мира, юродство все же органично вошло в толстовскую концепцию детства. Оно воплотило идеал писателя, связанный с полным отказом от своей личности (показательно, что юродивый Гриша никогда не употреблял местоимений). Безличностный характер героя подчеркивает тот факт, что у него нет биографии, никто не знает, откуда он и чей он сын. Его речь непонятна, косноязычна, как у пророков, часто напоминает детский лепет. Особый кодированный язык юродивого не понимает отец и прекрасно понимает мать, верящая в святость Гриши и в его пророческий дар.

И все же юродство в личностном, психологическом аспекте возникнет у Толстого вновь только в 1870-е гг. Б.М. Эйхенбаум, исследуя очередной творческий кризис писателя, приводит письмо к Н.Н. Страхову, в котором Толстой сформулирует свое представление об идеале: «Мучительно и унижительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т.е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда»¹⁴. Художественно Толстой попытался запечатлеть черты природного юродства в Алеше Горшке из позднего одноименного рассказа. В контексте позднего творчества понятен интерес Толстого к феномену юродства, однако доподлинно известно, что рассказ писателю не понравился и он не опубликовал его при жизни. Следует предположить, что юродство все же осталось для автора «Воскресения» до конца не проясненным психологическим явлением. Поэтому спорной представляется характеристика

позднего Толстого, данная автором современного исследования о юродстве И.А. Есауловым, который видит в поведении писателя черты почти канонического юродства: «Можно вспомнить о почти таком же отказе от художественных текстов как „лжи“ со стороны Л. Толстого. Его укору погрязшему во зле миру, призывы к непротивлению, попытки избавиться от имущества и отказаться от всяческих гонораров, нарушение церковной иерархии (как он полагал, именно „Христа ради“), наконец, бегство из дома: это почти канонический путь юродивого»¹⁵. На наш взгляд, все же существенна оговорка писателя: «Если бы я был один». Как ни стремился автор «Анны Карениной» воплотить идеал юродивого, полностью выйти за пределы своего круга он так и не смог. Трансформированный характер самой формы религиозного подвижничества свойствен не только личности и творчеству Толстого, но и всей русской культуре второй половины XIX в.

Еще более «размытыми» становятся представления о юродстве в нерелигиозной России XX в. Однако Шукшин, сформировавшийся в эпоху «шестидесятничества» с ее культом интеллекта, провозглашает «героем времени» «дурачка», героя природного и органичного. «Есть на Руси, — пишет Шукшин в статье «Нравственность есть правда», — еще один тип человека, в котором время, правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящим и умном... Человек этот — дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники не от мира сего — много их было в русской литературе, в преданиях народных, в сказках)...» (VIII, 357).

В статье Шукшина недаром сопрягаются образы Вани-дурачка и юродивого. Г.П. Федотов подчеркивает это соотношение: «Юродивый также необходим русской церкви, как секуляризованное его отражение, Иван-дурак — для русской сказки. Иван-дурак несомненно отражает влияние святого юродивого, как Иван-царевич — святого князя»¹⁶.

Для логики нашей работы программным явится рассуждение писателя XX в., которое приводит в своих воспоминаниях О.М. Румянцев: «Шукшин часто вспоминал, что еще в старое время среди неграмотного забитого нуждой люда встречались особенные, непохожие на других люди. Их считали юродивыми. На самом же деле... они ведь талант-

ливые... В душе у них живет стремление выйти из обыденности... Сотворить что-то свое — особенное. На удивление и на радость людям. И в каждом из них глубоко сидит артист, художник, словом, творец»¹⁷. Е.В. Кофанова в своей диссертации подчеркивает связь двух типов, «юродивого» и «чудика», в творчестве писателя¹⁸.

С юродивым шукшинского героя роднит отказ от среднестатистической личности. Писателя, несомненно, интересует диалектика мудрости и «дурацкости». Лучшие его герои — «заступники», искатели истины; их поиски чаще всего выражаются в особых, подчас парадоксальных формах. За иррациональным поступком органичного героя Шукшина чувствуется неискоренимое в народе стремление к красоте и правде. Однако религиозно-философское начало значительно редуцируется, существуя порой лишь в подтексте произведения. Так, в рассказе «Гена Пройдисвет» поведение главного героя подчеркнуто театрально, он — «массовик-затейник», но поступки стихийного шукшинского персонажа имеют более глубокое объяснение: «он и шарахался по жизни» в поисках правды. В первой части произведения «выверты» и «шалопайство» героя объяснены рассказчиком как проявление «демонстративной свободы, раскованности». В рассказе сама фамилия главного персонажа актуализирует тему юродствующего странствия. Странствие это прагматически и практически бесцельно, однако, по мысли героя, оно аксиологично — отступление от «своего» пути осознается как «смертельный грех». Оно предпринимается в поисках истинной правды, в противовес тем мнимым религиозным ценностям, к которым в конце жизни приходит дядя Гриша, и не имеет конечной точки пути. Генка не терпит лжи и притворства, а в позиции «новообращенного» дяди усматривает только «игру». Поэтому герой не торопится, он пришел к дяде за главным ответом на вопрос, почему тот вдруг уверовал в Бога, и намерен «обстоятельно ковырять души» (VI, 111). В рассказе существует сказочный архетип: Гена, по мнению дяди, — «дурак», и с этим готов согласиться сам герой.

Эпатажное поведение шукшинского персонажа («Генка не просто дурачится») призвано «искушать» человека, беречь его совесть. Генка оказывается не только гонимым и отверженным, «ругаясь миру», он сам в ответ слышит постоянную ругань в свой адрес.

Но добивается он всей правды, «до дна»: в инциденте с дядей прозвучит троекратное утверждение правды во всех ее оттенках: «желанная, злая правда, святая правда, большая правда». Таким образом, шукшинский герой здесь воплощает диалектику «мудрости» и «дурацкости».

Через представления Генки о масштабе поступка, своей роли и своего пространства в шукшинском персонаже ясно возникают устойчивые черты юродствующего сознания: «Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот... деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать... уважения захотел... Врать начал! Если я паясничаю на дорогах, — Генка постучал себе с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за мной — Русь...» (VI, 116). Значительно, что в этом монологе героя Россия возникает именно в образе древней «Руси». Помимо пространства дороги появляется базар, торжище, амбивалентная стихия, сродни многим сценам скандалов у Достоевского, где часто происходит смена «верха» и «низа», становятся неразличимы добро и зло, правда и ложь. Генка, боясь этой подмены, восклицает: «Мы же так опрокинемся!..» Творчество Достоевского в этом монологе шукшинского героя актуализируется трансформированной и все же узнаваемой цитатой из романа «Преступление и наказание»: «Мне есть к кому прийти!» В финале рассказа спору о правде противопоставляется правда самой жизни, мужскому, разрушающему, аналитическому подходу к жизни — женское, природное, созидательное.

В рассказе «Миль пардон, мадам!» бросается в глаза странность заглавия. Оно, казалось бы, не спроецировано на содержание произведения, отражает его игровой характер, является несвязной речью — особой «закодированной» формой высказывания. Опорным в названии становится женское начало, хотя сюжетно рассказ подчеркнута «мужской». Рассказ амбивалентно, трагикомично воплотил программный шукшинский тезис «Заступник найдется!». В роли такого «заступника» и борца с мировым злом выступает Бронька Пупков. Артистическую, по преимуществу безмотивную ложь Броньки Пупкова можно понять только, на наш взгляд, с точки зрения отдельных черт юродствующего сознания.

Юродствующая позиция характерна и для «сверхгероя» шукшинской прозы — Стеньки

Разина. Юродство атамана является прежде всего формой демократического протеста, неприятия абсурдного, по мнению Стеньки, социального мира. Однако, как в раннем творчестве Достоевского, юродство героя Шукшина неотличимо от скоморошества¹⁹. С одной стороны, протест Стеньки постоянно окрашивается в религиозные тона (Стенька и его окружение склонны воспринимать атамана как «нового Христа»), с другой — является проявлением бесовства. В скоморошески-юродствующем ключе построен эпизод преподнесения подарка жадному воеводе — шубы. По сути дела, сцена дарения оказывается как бы вывернутой наизнанку. Доведением до абсурда жизненной ситуации герой добивается последней правды, всенародно обличая воеводу в алчности.

В силу сложности проблемы юродства, редуцированности религиозного содержания в прозе писателя XX в. вопрос об архетипических составляющих «странного» героя Шукшина лишь намечен. Однако, на наш взгляд, юродство является одним из них. Уже в русской литературе второй половины XIX в. оно становится во многом лишь психологическим феноменом. Будучи формой проявления позиции нонконформизма и принадлежа к области серьезно-смехового мира, оно органично соответствовало творческой манере Достоевского и Шукшина. Юродство в психологии людей, в культуре и литературе русского атеистического XX в., несомненно, приобретало особые формы, секуляризованные, подчас судорожные, отмеченные психологическим «вывихом». Однако и они свидетельствовали о таящемся в народе духовно-религиозном потенциале, о сохранившемся представлении о подвижниках и правдоискателях.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 8 т. Барнаул, 2009. Т. 1. С. 80. Далее цитируем по

этому изданию с указанием тома (римскими цифрами) и страниц (арабскими) в тексте статьи.

² Цит. по: Волоцкий М., Швырев Ю. «Душу свою донести людям» // Искусство кино. 1981. № 7. С. 114.

³ См. об этом: Дуров А.А. Трансформация традиционного образа дурака в прозе В.М. Шукшина: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 1996.

⁴ Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 47.

⁵ Иванов В.В. Достоевский и народная культура (юродство, скоморошество, балаган): Дис. ... канд. филол. наук. 1989. Л., 1989. С. 81.

⁶ О Достоевском: Творчество Ф.М. Достоевского в русской мысли 1881–1931. М., 1990. С. 43.

⁷ Федотов Г.П. Юродивые // Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1997. С. 180.

⁸ Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 104.

⁹ Есаулов И.А. Юродство и шутство в русской литературе // Литературное обозрение. 1998. № 3. С. 108.

¹⁰ Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. С. 95.

¹¹ Иванов В.В. Достоевский и народная культура. С. 112.

¹² Короленко В.Г. Современная самозванщина // В.Г. Короленко. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1914. Т. 3.

¹³ Шкловский В.Б. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1974. Т. 2. С. 159.

¹⁴ Цит. по кн.: Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960. С. 168.

¹⁵ Есаулов И.А. Юродство и шутство... С. 109.

¹⁶ Федотов Г.П. Юродивые. С. 180.

¹⁷ Румянцева О. Говорить правду, только правду // О Шукшине: Экран и жизнь. М., 1979. С. 273.

¹⁸ См. об этом: Кофанова Е.В. Проблема художественной целостности творчества В.М. Шукшина: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.

¹⁹ См. об этом: Givens J.R. Provincial Polemics: Folk Discourse in the Life and Novels of Vasilii Shukshin. Ann Arbor, 1993. P. 95.